Деконструктивные практики XIX века (от натуральной школы до Л.Н. Толстого) и Ф.М. Достоевский

Алексей Казаков

Прежде чем начать разговор о главном герое нашего сборника, Ф.М. Достоевском, считаю нужным сделать подробное вступление, посвященное термину 'деконструкция'.

Современное понимание деконструкции оформилось в трудах постструктуралистов 1960-1970-х гг., в первую очередь в работах Ж. Деррида. В упрощенном виде этот метод предполагает поиск скрытой изнанки, которая признаётся подлинной мерой феномена, и недоверие официальной видимости, "фасаду", лицевой части какой-либо идеологии, практики, структуры (этот навязанный аспект деконструируется – т.е. слово 'деконструкция' означает именно процесс разрушения предъявленной нам поверхности феномена, которая признаётся фиктивной). Как правило, "фасад", т.е. титульная, лицевая, предъявленная миру сторона, по умолчанию носит возвышенный, чистый, благородный характер, а разоблаченная изнанка низкая, запретная, подавленная.

Сами постструктуралисты признавали свою вторичность по отношению к З. Фрейду (психоанализ действует в этой же логике: деконструирует официально заявленную психическую мотивацию и обнаруживает скрытую подавленную подоплёку, во фрейдизме, как правило, эротическую; последняя признаётся истиной психического мира, а первая – фикцией). В свою очередь, многие современные методологии зависимы от постструктуралистской деконструкции: например, постколониальные или ориенталистские

Alexey Kazakov, Tomsk State University, Russian Federation, akaz75@mail.ru, 0000-0002-9074-231X

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Alexey Kazakov, *Deconstruction in the 19th Century (from the Natural School to Leo Tolstoy) and Fyodor Dostoevsky*, © Author(s), CC BY 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0122-3.05, in Dar'ja Farafonova, Laura Salmon, Stefano Aloe (edited by), *F.M. Dostoevsky: Humor, Paradoxality, Deconstruction*, pp. 41-51, 2023, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0122-3, DOI 10.36253/979-12-215-0122-3

исследования, разоблачающие мнимое, по их мнению, благообразие властных и экспансионистских межнациональных дискурсов и выявляющие их циничную изнанку, которая и признаётся истинной правдой межнациональных отношений.

Для полного понимания предложенной трактовки деконструкции вспомним, как механика деконструкции действует, например, в трактате Ж. Деррида *О грамматологии* (Деррида 2000).

Вот, например, представления Ж.-Ж. Руссо об идеальной женщине, как их интерпретирует Деррида. По видимости, то есть на официально предъявленной лицевой поверхности феномена, речь вроде бы идёт о платоническом возвышенном духовном идеале женщины, который противопоставлен грубой материальной действительности (в известной нам соловьевско-блоковской традиции русского неоплатонизма нам это знакомо как «Прекрасная Дама»). Но в скрытой – и истинной, с точки зрения деконструкции – подоплёке подразумевается... Здесь я вынужден извиниться за содержание приводимых примеров и напомнить об общем провокативно-игровом характере философствования постструктурализма и о генетической связи деконструкции с методами Фрейда. Итак, в скрытой подоплёке платонического образа идеальной женщины у Руссо, по мнению Деррида, противопоставление реальной представительницы прекрасного пола и воображаемой проекции во время самоудовлетворения. Как известно, Руссо в *Исповеди* делает скандальное признание в этой своей слабости. Нематериальность эротической фантазии как раз и переосмысляется как идеальность. Суть коллизии у Руссо, как это видится Деррида: сексуальный контакт с реальной женщиной несёт много удовольствия, но и ещё большее количество проблем, а воображаемая проекция во всех смыслах безупречна и идеальна.

Вот такую скрытую (и с точки зрения деконструкции – подлинную) подоплёку вскрывает Деррида за концептом платонической идеальности у Руссо. Ещё раз напоминаю об эпатажном характере интеллектуальной игры в постструктурализме. И обращаю специальное внимание на то, что я настойчиво использую формулу «с точки зрения деконструкции»: мы вовсе не обязаны тоже считать скрытое низкое измерение истинной мерой реальности, а явленное высокое – фикцией и ложью. Отождествление "скрытое равно подлинное" – это психологически убедительный антинаучный предрассудок.

Другой пример из трудов Ж. Деррида, который лежит в основе проекта грамматологии: разоблачение выдвинутого на авансцену философии принципа голоса и реабилитация подавленного принципа письма. Эта коллизия выполняет важные для французского философа задачи борьбы с логоцентризмом в пользу децентрации и с метафизикой человеческого присутствия в пользу знаковой обезличенности, но, как представляется, это тоже фарсовая игра Деррида: никакой драмы подавления бедного и несчастного письма в реальности нет и сюжет борьбы за права обездоленных применительно к письму даётся французским мыслителем сугубо иронически.

На этом можно закончить методологическое вступление. Я не призываю всех принять предложенную модель деконструкции. Речь шла лишь о разъяснении, что именно я буду вкладывать в эту категорию и на каких основаниях эта конкретизация термина была сделана.

Разумеется, сам принцип недоверия видимому и разоблачения скрытого не был придуман в XX веке. Аналогичные практики были и в русской литературе времени жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Так, в практике натуральной школы предметом изображения становится голая "натура", то есть разоблаченное сокрытое (она ведь *голая,* т.е. раньше она была "одетая", обладала официально предъявленной публичной оболочкой, "одеждой", потом было обнажение, снятие покровов, раскрытие чего-то потаенного, а может, даже постыдного).

Можно вспомнить наблюдения В.В. Виноградова, который связывает пафос реальности у Гоголя и его продолжателей в натуральной школе с символикой неистового романтизма. Показать правду жизни в этом контексте означает снять покровы для того, чтобы вскрыть безобразную изнанку. По мысли учёного, это выражает, например, мотив снятия кожи в гоголевском *Кровавом бандуристе* (Виноградов 1976).

Эту мысль учёного не нужно воспринимать как вычурный парадокс. Паранаучный эпатаж содержится только в выборе иллюстративного материала из гоголевского, так сказать, "шок-контента". Сама же модель очень точна.

Идея о связи реализма с метафизикой романтизма не принадлежит Виноградову, она содержится уже в гегелевских лекциях по эстетике. Немецкий философ говорил, что в романтическом искусстве (каковым, напомню, для него является всё искусство христианской эпохи, всё, что не является классической античностью или символической архаикой; иначе говоря, и то, что мы называем реализмом) дух отделяется от плоти реальности (в отличие от античности, т.е. классики, где наблюдается тождество внутреннего и внешнего), в романтической стадии культуры внутреннее содержание оказывается не равно материальному воплощению. Это, с одной стороны, порождает интерес к духовной бесконечности, не умещающейся в рамках реальности (и в силу этого в том числе невыразимой), – то есть становится основой романтического мышления в современном узком понимании. Но, с другой стороны, это же становится основой для рассмотрения реальности, лишённой осмысленности, идеальности (для Гегеля это лишь другая сторона романтического раздвоения; Гегель 1969).

Развивая мысль Гегеля, реалистический подход – это не отображение нейтрально-объективной действительности без прибавки ненужных элементов (например, идеализирующего украшательства); нет, это, наоборот, реальность *минус* её важнейшие элементы, действительность, с которой что-то снято, содрано, утрачено. Причём это именно «нижняя», изнаночная в аксиологическом смысле сторона реальности, которая осталась после утраты "верхней" части.

В качестве косвенной иллюстрации этой специфической топологии реальности можно напомнить о том, что школа Белинского воспринимает

в качестве образца реалистического описания России *Мёртвые души* Гоголя («ад» русской жизни, по мысли автора, т.е. снова низовая изнанка).

Напоминаю, что эстетические представления Белинского, идеолога реалистического осмысления гоголевского вклада в русскую литературу и создателя натуральной школы, в своей основе гегельянские. Неслучайно он, вслед за Гегелем, называет классицистов XVII–XVIII вв. «ложноклассиками» – с точки зрения немецкого философа искусство этих веков тоже представляет собой вариации романтического видения действительности после утраты гармонии внешнего и внутреннего, телесного и душевного, которая была присуща классическому этапу человеческой культуры. Приписывать Белинскому представления о романтизме, взятые из учебников XX века, как минимум, наивно.

Но следует признать, что Белинский и его последователи склоняются к нивелированию описанной деконструктивной топологии, специфическому забвению происхождения своей модели реальности из "голого", изнаночного, "адского" измерения действительности – всё это предлагается воспринимать как нейтрально-объективную реальность.

Ф.М. Достоевский и сам использует "деконструирующий" подход к реальности, т.е. обнажает изнаночную подоплёку действительности, и напряженно полемизирует с ним. С одной стороны, он настойчиво сопротивляется специфической "автоматизации" того, что изначально создавалось как практика "деавтоматизации". Писатель не принимает превращение в одномерно позитивное того, что было принципиально двухмерным (т.е. содержало явный фасад и скрытую изнанку), а теперь почему-то признается единственной однослойной правдой реальности, позитивной, обыденной, само собой разумеющейся, фактичной действительностью.

Достоевский не признает этой одномерности, показывает её, говоря современными терминами, деконструирующую структуру, например, в *Двойнике*, где последовательное применение "гоголевских" натуральных методов порождает не позитивную обыденную реальность, а мистическую притчевую картину хаотической жизни изнаночной материальной "истины" после снятия духовной "видимости". Думаю, не нужно подсказывать, что сама категория "двойник" тоже предполагает двухмерность топологии реальности.

В повести *Двойник* Достоевский осуществляет ревизию принципиальных оснований реализма в том виде, в каком он сложился в рамках натуральной школы – отвлечемся от факта, что термин 'реализм' ещё не сформировался (см. Захаров 1997а). Господствующее представление о сущности эксперимента Достоевского предполагает, что он создает некий *искаженный* реализм, видоизмененный за счет дестабилизирующих и проблематизирующих минус-факторов, под действием которых создается атмосфера миражности, неправдоподобности, зыбкости, мерцания границ, что и становится основой усложнения модели реальности, придания ей многомерности, видения в ней возможности другой жизни и т.д.

(см. Соркина 1969; Джоунс 1998; Захаров 1997б; Степанян 2010). Иначе говоря, мы до сих пор остаемся в пределах оценки Белинского, даже если относимся к Достоевскому апологетически, видим в фантастичности его мира не недостаток, а достоинство.

Но Достоевский не искажает "натуральную" модель действительности, а показывает её изначальную двухмерную деконструирующую структуру. Достоевский стремится сохранить осмысленную внутреннюю топологию реальности (взаимодействие верхнего и наружного "идеального" с нижним и изнаночным "реальным"). Причем фантастичен и лишен правдоподобия не верхний "идеальный" уровень действительности, а нижний, изнаночный, материально-бытовой, "адский", "меональный".

> Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой *идеализм* – реальнее ихнего. Господи! Пересказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает! (ПСС 28_2, 329).

Возможно, в этом общеизвестном высказывании Достоевского стоит присмотреться к речевым метафорам «мелко» и «глубоко» – нет ли здесь связи с топологией наружного и изнаночного, верхнего и нижнего.

Интерес Достоевского к скрытой подоплеке действительности согласуется и с бахтинской концепцией карнавализации. Карнавал – это гротесковая изнанка действительности, преисподняя, подземный мир, в котором похороненный мертвец идёт к новому рождению, в котором зерно даёт новый росток.

Итак, Достоевский активно использует деконструирующие методы изучения действительности, предполагающие заглядывание на изнанку, в скрытую глубину, принципиально сопротивляется нейтрализации внутренней иерархии такого рода топологии, т.е. подмене, в ходе которой изнаночная "адская" сторона действительности воспринимается как нейтральная объективно-фактическая одномерная реальность.

Интересно, что Белинский тоже видит в методе молодого Достоевского доведение натурального взгляда до абсурдного, изнаночного предела, но не на примере *Двойника*, а на материале *Господина Прохарчина*:

> Может быть, мы ошибаемся, но почему ж бы в таком случае быть ей такою вычурною, манерною, непонятною, как будто бы это было какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, а не поэтическое создание? В искусстве не должно быть ничего темного и непонятного; его произведения тем и выше так называемых «истинных происшествий», что поэт освещает пламенником своей фантазии все сердечные изгибы своих героев, все тайные причины их действий, снимает с рассказываемого им события все случайное, представляя нашим глазам одно необходимое, как неизбежный результат достаточной причины (Белинский 1956, 41-2).

Так и получается, что в рамках одной и той же статьи Белинского одному произведению Достоевского (*Господину Прохарчину*) делается упрёк в чрезмерной натуральности, отсутствии фактора авторской фантазии, другому (повести *Двойник*) – в отклонении от натуральности, в недопустимой повышенной роли всё той же фантазии. При этом в обоих случаях Достоевский демонстрирует одно и то же – последствия "натурального" взгляда, то есть обнажения скрытой и низкой изнанки реальности. Такой принцип видения вовсе не показывает нам нейтрально-одномерную действительность, напротив, он выводит на поверхность скрытого и подавленного "двойника" реальности.

Важным аспектом подхода Достоевского к этой модели реальности также является отказ писателя считать изнаночное измерение заведомо более подлинным, а поверхностное – по определению фиктивным и ложным. Как известно, Достоевский очень часто отказывается принимать психологически убедительные предрассудки. Только что были процитированы его размышления о том, что реалистичность вовсе не тождественна правдоподобности. Вспомним также предисловие к *Братьям Карамазовым*, где он предлагает усомниться в представлении о том, что дух времени выражает общая однотипная человеческая масса, а не чудак-одиночка, идущий против течения.

В борьбе против автоматизации модели реальности Достоевского можно считать адептом деконструкции, но важно и то, что он принципиально отрицает приоритет низкой изнанки перед возвышенным фасадом, предрассудок, что разоблачение сокровенного и запретного более "правдиво". Во время работы над *Двойником* это лишь намечается, более последовательно это реализовано в эпизоде полемики Достоевского с Толстым в связи с некоторыми идеями Левина в *Анне Карениной*.

Для Л.Н. Толстого тоже очень характерен метод снятия покровов, "масок", специфика его художественного метода позволила В. Шкловскому выработать категорию «остранения» (Шкловский 1983, 291), нечто очень близкое деконструкции.

Если быть максимально точным, остранение работает несколько иначе, чем деконструкция. Оно не предполагает разламывания видимой оболочки ради поиска скрытой в глубине правды, скорее речь идёт о смене принципов видения у субъекта восприятия. Но и в том, и в другом случае явное и официальное содержание феномена по умолчанию считается не заслуживающим доверия, а истиной признается то, что вторичным образом получено в результате какой-то переработки факта реальности.

Предметом изображения последней, VIII части романа *Анна Каренина* становятся летние балканские события 1876 г. и связанное с ними добровольческое движение (до официального вступления в войну Российской империи). Эта часть романа Толстого издана в 1877 г. отдельной книжкой, потому что редакция *Русского вестника*, в котором выходил роман, отказалась её публиковать. Причиной отказа стала именно оценка добровольческого движения, которую дали герои Толстого.

Достоевский полемически комментирует эту оценку в выпуске *Дневника писателя* за июль-август 1877 г., посвящая этому вопросу больше половины своего альманаха.

Роман *Анна Каренина* наполнен полемическими заявлениями на животрепещущие темы. Лев Николаевич, как обычно, стремится к максимальной прямоте, чуждаясь компромиссов. Это, например, сказывается в характере звучания в романе предельно злободневного вопроса о женском равноправии: один из героев *Анны Карениной* саркастично требует для себя равных прав с женщинами и, в частности, возможности кормить детей грудью.

Такая же прямота и бескомпромиссность (на грани с бесцеремонностью) реализована и в оценках добровольческого движения и лежащего в их основе предполагаемого чувства сопричастности к братьям-славянам.

> <Левин:> Такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть.
> – Может быть, для тебя нет. Но для других оно есть, – недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. – В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых агарян». Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил.
> – Может быть, – уклончиво сказал Левин, – но я не вижу этого; я сам народ, и я не чувствую этого (Толстой 1982, 403-4).

Толстой совершает специфическую деконструкцию, в чем-то перекликающуюся с принципами постколониальных исследований, которые методологически оформились в конце XX века (Саид 2006; Алексеев 2015). Русский писатель пытается выяснить, какая идеологическая подоплёка скрыта за утверждением права на применение силы против «варварской» Османской империи, «нечестивых агарян», по выражению Кознышева.

Вопрос о чьём-то корыстном интересе, скрытом за торжественными заявлениями, у Льва Николаевича сдвинут на периферию, "толстовский" герой Левин его не ставит, наличие прямой выгоды готов видеть только менее авторитетный персонаж: «Так-то и единомыслие газет. Мне это растолковали: как только война, то им вдвое дохода» (Толстой 1982, 407). Эти слова произносит старый князь, тесть Левина, простоватый и прямодушный человек старой закалки.

Вопрос о возможном идеологическом интересе власти (определяющий в постколониальных исследованиях) у Толстого и вовсе обходится стороной. Точнее, ничего не говорится о вовлеченности этого института в узком смысле (правящий режим). Не очень ясно, не подразумевает ли писатель ответственности какого-то другого слоя власти: «Но кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?» (там же, 403).

В *Войне и мире* Толстой уже рисовал перед нами картину власти – на примере управления армии – как тайной борьбы группировок, скрытой за видимым единоличием управления. Великий романист и в *Анне Каре-*

ниной мог иметь в виду что-то подобное, но утверждать это можно только очень осторожно, слишком силен иронический контекст утверждения о Лидии Ивановне, объявившей войну туркам.

Ф.М. Достоевский счел вполне отчетливым этот возможный оттенок смысла размышлений героев Толстого. Перечисляя основные тезисы VIII части *Анны Карениной* по поводу событий лета 1876 г., он называет следующие:

> Сущность этого взгляда, насколько я его понял, заключается, главное, в том, что, во-1-х, всё это так называемое национальное движение нашим народом отнюдь не разделяется, и народ вовсе даже не понимает его, во-2-х, что всё это *нарочно подделано, сперва известными лицами*, а потом поддержано журналистами из выгод, чтоб заставить более читать их издания, в-3-х, что все добровольцы были или потерянные и пьяные люди или просто глупцы, в-4-х, что весь этот так называемый подъем русского национального духа за славян был не только подделан известными лицами и поддержан продажными журналистами, но и подделан вопреки, так сказать, самых основ… И наконец, в-5-х, что все варварства и неслыханные истязания, совершенные над славянами, не могут возбуждать в нас, русских, непосредственного чувства жалости и что «такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть». Последнее выражено окончательно и категорически (ПСС 25, 194; курсив мой, *АК*).

По мысли Достоевского, логика Толстого и его героев неизбежно должна была включать в себя и такое конспирологическое предположение. Это очень важный момент, автор *Дневника писателя* знает о таких вариантах, т.е. его иные взгляды основаны не на том, что он наивный и простодушный человек, – они, как и его религиозные убеждения, прошли через «горнило сомнений».

Достоевский предлагает диаметрально противоположную по сравнению с Толстым оценку включения России в балканские события:

> «Великий восточный орел взлетел над миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства»; не покорять, не приобретать, не расширять границы он хочет, а освободить, восстановить угнетенных и забитых, дать им новую жизнь для блага их и человечества. […] Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды кажется Европе столь непривычным, столь вышедшим из международных обычаев, что поступок России естественно принимается Европой не только как за варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной *на низость и глупость* затеять в наш век что-то вроде прежде бывших в темные века крестовых походов, но даже и за безнравственный факт, опасный Европе и угрожающий будто бы ее великой цивилизации» (ПСС 25, 196; курсив автора).

Автор *Дневника писателя* предлагает буквально принимать гласно заявленный высокий идеологический смысл происходящего и осуждает

тех, кто отрицает саму возможность благородных намерений в большой политике (см. также: Волгин 1971).

Полемический отклик Достоевского выявляет важную сторону идеологического скептицизма Толстого. Методологическая сущность их заочного спора связана со стремлением определить природу процессов национального самосознания: каков состав самого субъекта этого самосознания, каково место идеологически программного в духовной жизни народа. Толстой утверждает, что движение в поддержку балканских славян не имеет отношения к национальному самосознанию, этот злободневный идеологический комплекс иной природы, чем то, что может происходить в глубинах народной жизни.

Оба писателя связывают свою литературную, а может быть, и жизненную миссию именно с выражением глубинных духовных процессов народной жизни, поэтому вопрос об адекватности избранной модели этих процессов стоит для них предельно остро.

Достоевский, как и подавляющее большинство современников, не знает о тайной политической кухне, о секретном Рейхштадском соглашении, согласно которому Австрия получает право на аннексию Боснии и Герцеговины и отказывается от обязательства военной поддержки Турции (такое обязательство было одним из итогов Крымской войны). Иначе говоря, на тайной изнанке политической жизни Российская империя обменивает «братьев-славян» на актуальные геополитические результаты. Т.е. с точки зрения фактов прав скептик Толстой.

Но незнание тайной низкой изнанки возвышенных политических заявлений (в частности, Рейхштадтского соглашения) не делает автоматически концепцию Достоевского неверной, а его самого этаким наивным простаком, легко поддающимся идеологическому манипулированию. Как уже говорилось, подозрительность скептиков тоже не основывается на фактах, и они не знают о секретном соглашении. Дело не в соответствии фактам, друг другу противостоят именно *модели* национального самосознания.

Толстовское представление об этом феномене, как это бывает в его творческом мире, связано с поиском скрытой истинной сущности явления, которую не видят остальные люди, потому что считают проблему решенной и очевидной и не ставят нужных вопросов. Так же строится его концепция человеческой души, истории и т.д.

"Профетическая" модель Достоевского, напротив, обращена к тому, что может прийти на ум любому, но обычно отметается, как нечто заведомо фантастическое. Структурно представления писателя предполагают в том числе критику модели правды как тайной изнанки и скрытой подоплеки. Достоевский отверг такую модель правды как тенденциозную уже в период натуральной школы. Структура истины, как считает писатель, безмерно сложнее.

Возможно, бурная реакция писателя на высказывания персонажей восьмой части *Анны Карениной* связана не только с их прямым содержанием, но и с тем, что Достоевский узнал в них давнего "врага".

Впрочем, скептицизм Толстого тоже имеет более сложную структуру. Если учесть контекст *Войны и мира*, его представления о глубинных процессах духовной жизни народа не сводятся к выворачиванию низкой изнанки (хотя и эта составляющая важна). 1812 год показал, что историческое чудо в духе профетизма Достоевского тоже может быть фактом реальности. А значит, можно предположить, что Л.Н. Толстой в *Анне Карениной* не утверждает, что высокое национальное единение – всегда обман и манипулирование, а видит в движении в поддержку «братьев-славян» несоответствие той концепции подлинного народного единения, которая у него выработалась в ходе написания *Войны и мира*.

Как мы помним, в *Войне и мире* была важна коллизия противопоставления «скрытой теплоты патриотизма» и декларативной великорусской демагогии: «Толстой с сарказмом развенчивает романтическое представление, будто "все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью". Оплакивали Россию и говорили о самопожертвовании те, кто был далек от участия в деле» (Бочаров 1987, 41).

Возможно, и Толстой увидел в движении в поддержку балканских славян давнего "врага", то, что он уяснил и отверг на предыдущих этапах творческого пути.

Достоевский отказывается признавать результаты деконструкции (отрицание объявленного, утверждение сокрытого) как последнюю и единственную версию правды о реальности. Предварительно и условно подход Достоевского можно назвать "деконструкцией деконструкции".

Цитируемая литература

Алексеев, Павел В. 2015. *Восток и восточный текст русской литературы первой половины XIX века: Концептосфера русского ориентализма*. Диссертация... доктора филолог. наук. Томск: ТГУ.

Белинский, Виссарион Г. 1956. "Взгляд на русскую литературу 1846 года." В кн. Виссарион Г. Белинский, *Полное собрание сочинений*, т. 10. Москва: Изд-во АН СССР.

Бочаров, Сергей Г. 1987. *Роман Л.Н. Толстого «Война и мир»*. Москва: Художественная литература.

Виноградов, Виктор В. 1976. "Романтический натурализм (Жюль Жанен и Гоголь)." В кн. Виктор В. Виноградов, *Поэтика русской литературы*. Москва: Наука.

Волгин, Игорь Л. 1971. "Нравственные основы публицистики Достоевского («Восточный вопрос» в «Дневнике писателя»)." *Известия АН СССР* (Серия лит. и яз.) 30: 312-22.

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих. 1969. *Эстетика*, в 4 тт., т. 2, под ред. и с предисловием Михаила Лифшица. Москва: Искусство.

Деррида, Жак. 2000. *О грамматологии*, пер. Н. Автономовой. Москва: Ad marginem.

Джоунс, Малкольм. 1998. *Достоевский после Бахтина. Исследование фантастического реализма Достоевского*. Санкт-Петербург: Академический проект.

Захаров, Владимир Н. 1997а. “Реализм.” В кн. *Достоевский: Эстетика и поэтика. Словарь-справочник,* сост. Г.К. Щенников, А.А. Алексеев; науч. ред. Г.К. Щенников, 39. Челябинск: Металл.

Захаров, Владимир Н. 1997б. “Фантастическое.” В кн. *Достоевский: Эстетика и поэтика. Словарь-справочник,* сост. Г.К. Щенников, А.А. Алексеев; науч. ред. Г.К. Щенников, 53-6. Челябинск: Металл.

Саид, Эдвард Вади. (1978) 2006. *Ориентализм. Западные концепции Востока,* пер. с англ. А.В. Говорунова. Санкт-Петербург: Русскій міръ.

Соркина, Дина Л. 1969. “«Фантастический реализм» Достоевского (Статья первая).” В кн. *Проблемы идейности и мастерства художественной литературы,* ред. Дина Л. Соркина, 182-99. Томск: Изд-во ТГУ (*Учёные записки ТГУ* 77).

Степанян, Карен А. 2010. “Что такое «реализм» и был ли Достоевский реалистом?” В кн. Карен А. Степанян, *Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского.* Санкт-Петербург: Книга.

Толстой, Лев Н. 1982. *Собрание сочинений,* в 22 тт., т. 9. Москва: Художественная литература.

Шкловский, Виктор Б. 1983. *Избранное,* в 2 тт. Москва: Художественная литература.